

# МОИ СКИТАНИЯ



## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### ДЕТСТВО

*Ушкуйник и запорожец. Мать и бабушка. Азбука. В лесах дремучих.  
Вологда в 60-х годах. Политическая ссылка. Нигилисты и народники.  
Губернские власти. Аристократическое воспитание. Охота на медведя.  
Матрос Китаев. Гимназия. Цирк и театр. «Идиот».  
Учителя и сальто-мортале.*

Бесконечные дремучие, девственные леса вологодские сливаются на севере с тундрой, берегом Ледовитого океана, на востоке, через Уральский хребет, с сибирской тайгой, которой, кажется, и конца-края нет, а на западе до моря тянутся леса да болота, болота да леса.

И одна главная дорога с юга на север, до Белого моря, до Архангельска — это Северная Двина. Дорога летняя. Зимняя дорога, по которой из Архангельска зимой рыбу возят, шла вдоль Двины, через села и деревни. Народ селился, конечно, ближе к пути, к рекам, а там, дальше, глушь беспросветная да болота непролазные, диким зверем населенные... Да и народ такой же дикий блудился от рождения довеку в этих лесах... Недаром говорили:

— Вологжане в трех соснах заблудились.

И отвечали на это вологжане:

— Всяк заблудится! Сосна от сосны верст со сто, а меж соснами лесок строевой.

Родился я в лесном хуторе за Кубенским озером и часть детства своего провел в дремучих домшинских лесах, где по волокам да болотам непроходимым медведи пешком ходят, а волки стаями волочатся.

В Домшине пробегала через леса дремучие быстрая речонка Тошня, а за ней, среди вековых лесов, болота. А за этими болотами скиты раскольничьи<sup>1</sup>, куда доступ был только зимой, по тайным нарубкам на деревьях, которые чужому и не приметить, а летом на шестах пробираться приходилось, да и то в знакомых местах, а то

---

<sup>1</sup> Люди древнего благочестия — звали они себя. (Все подстрочные примечания принадлежат автору. — Ред.)

попадешь в болотное окно, сразу провалишься — и конец. А то чуть с кочки оступишься — тина засосет, не выпустит кверху человека и затянет.

На шестах пробирались. Подойдешь к болоту в сопровождении своего, знакомого человека, а он откуда-то из-под кореньев шести трехсаженные несет.

Возьмешь два шеста, просунешь по пути следования по болоту один шест, а потом параллельно ему, на аршин расстояния — другой, станешь на четвереньки — ногами на одном шесте, а руками на другом — и ползешь боком вперед, передвигаешь ноги по одному шесту и руки, иногда по локоть в воде, по другому. Дойдешь до конца шестов — на одном стоишь, а другой вперед двигаешь. И это был единственный путь в раскольничьи скиты, где уж очень хорошими пряниками горячими с сотовым медом угощала меня мать Манефа.

Разбросаны эти скиты были за болотами на высоких местах, красной сосной поросших. Когда они появились — никто и не помнил, а старики и старухи были в них здесь родившиеся и никуда больше не ходившие... В белых рубахах, в лаптях. Волосы подстрижены спереди челкой, а на затылке круглые проплешины до кожи выстрижены; «гуменьшко» — называли они это остриженное место. Бороды у них косматые, никогда их ножницы не касались, и ногти на ногах и руках черные да заскорузлые, вокруг пальцев закрученные, отроду не стриглись.

А потому, что они веровали, что рай находится на высокой горе и после смерти надо карабкаться вверх, чтобы до него добраться, — а тут ногти-то и нужны<sup>1</sup>. Так все веровали и никто не стриг ногтей.

Чистота в избах была удивительная. Освещение — лучина в свече. По вечерам женщины сидят на лавках, прядут «куделю» и поют духовные стихи. Посуда своей работы, деревянная и глиняная. Но чашка и ложка была у каждого своя, и если кто-нибудь посторонний, не их веры, поел из чашки или попил от ковша, то она считалась поганой, «обмирщенной» и пряталась отдельно.

Я раза три был у матери Манефы — ее сын Трефилий Спиридоньевич был другом моего «дядьки», беглого матроса, старика Китаева, который и водил меня в этот скит...

— Смотримся в поморский волок, — скажет, бывало, он мне, и я радовался.

<sup>1</sup> Легенды искания рая с XII века.

Волок — другого слова у древних раскольников для леса не было. Лес — они называли бревна да доски.

Да и вообще в те времена и крестьяне так говорили. Бывало, спросишь:

- Далеко ли до Ватланова?
- Волок да волок — да Ватланово.
- Волок да волок — да Вологда.

Это значит, надо пройти лес, потом — поле и деревушку, а за ней опять лес, опять волок.

Откуда это слово — а это слово самое что ни на есть древнее. В Древней Руси назывались так сухие пути, соединяющие две водные системы, где товары, а иногда и лодки перевозили от реки до реки.

Но в Вологодской губернии тогда каждый лес звался волоком. Да и верно: взять хоть поморский этот скит, куда ни на какой телеге не проедешь, а через болота всякий груз приходилось на себе волочь или на волокушах — нечто вроде саней, без полозьев, из мелких деревьев. Нарубят, свяжут за комли, а на верхушки, которые не затонут, груз кладут. Вот это и волок.

- Не бегай в волок, волк в волоке, — говорят ребятишкам.

Вологда. Корень этого слова, думаю, волок, и только волок.

Вологда существовала еще до основания Москвы — это известно по истории. Она была основана выходцами из Новгорода. А почему названа Вологда — рисуется мне так.

Было на месте настоящего города тогда поселение, где жили новгородцы, которое, может быть, и названия не имело. И вернулись непроходимыми лесами оттуда в Новгород какой-нибудь поселенец и рассказывает, как туда добраться.

- Волок да волок, волок да волок, а там и жильё.

И невольное останется в памяти слушающего музыка слов, и безымянное жильё стало: Вологда.

- Волок да волок...

Родился я в глухих Сямских лесах Вологодской губернии, где отец после окончания курса семинарии был помощником управляющего лесным имением графа Олсуфьева, а управляющим был черноморский казак Петро Иванович Усатый, в 40-х годах променявший кубанские плавни на леса севера и одновременно фамилию Усатый на Мусатов, — так, по крайней мере, адресовали ему письма из барской конторы, между тем как на письмах с Кубани значилось: Уса-



тому. Его отец, запорожец, после разгрома Сечи в 1775 году Екатериной ушел на Кубань, где обзавелся семейством и где вырос Петр Иванович, участвовавший в покорении Кавказа. С Кубани сюда он прибыл с женой и малолетней дочкой к Олсуфьеву, тоже участнику кавказских войн. Отец мой, новгородец с Белоозера, через год после службы в имении женился на шестнадцатилетней дочери его Надежде Петровне.

Наша семья жила очень дружно. Отец и дед были завзятые охотники и рыболовы, первые медвежатники на всю округу, в одиночку с рогатиной ходили на медведя. Дед чуть не саженного роста, сухой, жилистый, носил всегда свою черкесскую косматую папаху и никогда никаких шуб, кроме лисьей, домоткацкого сукна чамарки и грубой свитки, которая была так широка, что ею можно было покрыть лошадь с ногами и головой.

Моя бабушка, Прасковья Борисовна, и моя мать, Надежда Петровна, сидя по вечерам за работой, причем мама вышивала, а бабушка плела кружева, пели казачьи песни, а мама иногда читала вслух Пушкина и Лермонтова. Она и сама писала стихи. У нее была сафьянная тетрадка со стихами, которую после ее кончины так и не нашли, а при жизни она ее никому не показывала и читала, только когда мы были втроем. Может быть, она сожгла ее во время болезни? Я хорошо помню одно из стихотворений, про звездочку, которая упала с неба и погибла на земле.

Дед мой любил слушать Пушкина и особенно Рылеева, тетрадка со стихами которого, тогда запрещенными, была у отца с семинарских времен. Отец тоже часто читал нам вслух стихи, а дед, слушая Пушкина, говаривал, что Димитрий Самозванец был действительно запорожский казак и на престол его посадили запорожцы. Это он слышал от своих отца и деда и других стариков.

Бежал в Сечь Запорожскую,  
Владеть конем и саблей научился...

Бывало, читает отец, а дед положит свою ручищу на книгу, всю ее закроет ладонью и скажет:

— Верно! — И начнет свой рассказ о запорожцах.

Много лет спустя, будучи на турецкой войне, среди кубанцев-пластунов, я слышал эту интереснейшую легенду, переходившую у них из поколения в поколение, подтверждающую пребывание в Сечи Лжедмитрия: когда на коронацию Димитрия, рассказывали старики-кубанцы, прибыли наши запорожцы почетными гостями, то

их расположили возле самого Красного крыльца, откуда выходил царь. Ему подвели коня, а рядом поставили скамейку, с которой царь, поддерживаемый боярами, должен был садиться.

— Вышел царь. Мы глядим на него и шепчемся, — рассказывали депутаты своим детям. — Знакомое лицо и хватка. Где-то мы его видали...

Спустился царь с крыльца, отмахнул рукой бояр, пнул скамейку, положил руку на холку да прямо, без стремени, прыг в седло — и как врос. И все разом:

— Це наш Грицко!

А он мигнул нам: помалкивай, мол. Да и поехал.

И вспомнил я тогда на войне моего деда, и вспоминаю я сейчас слова старого казака и привожу их дословно. Впоследствии этот рассказ подтвердил мне знаменитый кубанец Степан Кухаренко.

Учиться читать я начал лет пяти. Дед добыл откуда-то азбуку, которую я помню и сейчас до мелочей. Каждая буква была с рисунком во всю страницу, и каждый рисунок изображал непременно разносчика: А (тогда написано было «аз») — апельсины. Стоит малый в поддевке с лотком апельсинов на голове. Буки — торговец блинами, вежи — ветчина, мужик с окороком, и т. д. На некоторых страницах три буквы на одной. Например: у, ферт и хер — изображен торговец в шляпе гречневиком с корзиной и подпись: «У меня Французские Хлебы». Далее следуют страницы складов: буки-аз — ба, вежи-аз — ва, глаголь-аз — га. А еще далее нравоучительное изречение вроде следующего:

«Перед особами высшего нас состояния должно показывать, что чувствуешь к ним почтение, а с низшими надо обходиться особенно кротко и дружелюбно, ибо ничто так не отвращает от нас других, как грубое обхождение».

В конце книги молитвы, заповеди и краткая Священная история с картинками. Особенно эффектен дьявол с рогами, копытами и козлиной бородой, летящий вверх тормашками с горы в преисподнюю.

Вскоре купил мне дед на сельской ярмарке другую азбуку, которая была еще интереснее. У первой буквы А изображен мужик, ведущий на веревке козу, и подпись: «Аз. Антон козу ведет».

Дальше под буквой Д изображено дерево, в ствол которого вставлен желоб, и по желобу течет струей в бочку жидкость. Подписано: «Добро. Деревянное масло».



Под буквой С — пальмовый лес, луна, показывающая, что дело происходит ночью, и на переднем плане спит стоя, прислонясь к дереву, огромный слон, с хоботом и клыками, как и быть должно слону, а внизу два голых негра ручной пилой подпиливают пальму у корня, а за ними десяток негров с веревками и крючьями. Под картиной объяснение: «Слово. Слон, величайшее из животных, но столь неуклюжее, что не может ложиться и спит стоя, прислонясь к дереву, отчего и называется слон. Этим пользуются дикие люди, которые подпиливают дерево, слон падает и не может встать, тут дикари связывают его веревками и берут».

Дальше в этой книге, обильной картинками, также Священная история.

На горе Арарат стоит ковчег в виде огромной барки, из которой Ной выгоняет длинной палкой всевозможных животных от верблюда до обезьян.

Помнится еще картинка: облака, а по ним на паре рысаков, в развевающихся одеждах мчится, стоя на колеснице, Илья-пророк... Далее берег моря, наполовину из воды высунулся кит, а из его пасти весело вылезает пророк Иона.

Хорошо помню, что одна из этих азбук была напечатана в Москве, имела синюю обложку, а вторая — красную с изображением восходящего солнца.

Потом меня стала учить читать мать по хрестоматии Галахова, заучивать стихотворения и писать с прописи, тоже нравоучительного содержания.

Других азбук тогда не было, и надо полагать, что Лев Толстой, Тургенев и Чернышевский учились тоже по этим азбукам.

Отец вскоре получил место чиновника в губернском правлении, пришлось переезжать в Вологду, а бабушка и дед не захотели жить в лесу одни и тоже переехали с нами. У деда были скоплены небольшие средства. Это было за год до объявления воли во время крепостного права. Крестьяне устроили нам трогательные проводы, потому что дед и отец пользовались особенной любовью. За все время управления дедом глухим лесным имением, где даже барского дома не было, никто не был телесно наказан, никто не был обижен, хотя кругом свистали розги, и управляющими, особенно из немцев, без очереди сдавались люди в солдаты, а то и в Сибирь ссылались. Здесь в нашу глушь не показывались даже местные власти, а сами помещики ограничивались получением оброка да съестных припасов и дичи к Рождеству, а сами и в глаза не видали своего имения,

в котором дед был полным властелином и, воспитанный волей казачьей, не признавал крепостного права: жили по-казачьи, запросто и без чинов.

В Вологде мы жили на Калашной улице в доме купца Крылова, которого звали Василием Ивановичем. И это я помню только потому, что он бывал именинник под Новый год и в первый раз рождественскую елку я увидел у него. На лето мы уезжали с матерью и дедом в имение Светелки, принадлежащее Наталии Александровне Назимовой.

Она была, как все говорили в Вологде, нигилистка, ходила стриженная и дружила с нигилистами. Светелки — крохотное имение в домшинских непроходимых лесах, тянущихся чуть ли не до Белого моря, — стояло на берегу лесной речки Тошни, за которой ютились раскольничьи скиты, куда добраться можно только было по затесам, меткам на деревьях.

Назимова, дочь генерала, была родственница исправника Беляева и родственница Разнатовских, родовитых дворян, отец которых был когда-то другом и сослуживцем Сперанского и занимал важное место в Петербурге. Он за несколько лет до моего рождения умер, а семья переселилась в Вологду, где у них было имение. Несмотря на родственные связи, все-таки Назимовой пришлось эмигрировать в Швейцарию вместе с доктором Коробовым, жившим в Вологде под строжайшим надзором властей. С тех пор ни она, ни Коробов в Вологде не бывали. В это время умерла моя бабушка, а вскоре затем, когда мне минуло восемь лет, и моя мать, после сильной простуды.

Мы продолжали жить в той же квартире с дедом и отцом, а на лето опять уезжали в Светелки, где я и дед пропадали на охоте, где дичи всякой было невероятное количество, а подальше, к скитам, медведи, как говорил дед, пешком ходили. В Светелках у нас жил тогда и беглый матрос Китаев, мой воспитатель, знаменитый охотник, друг отца и деда с давних времен.

Еще при жизни матери отец подарил мне настоящее небольшое ружье мелкого калибра заграничной фабрики, с золотой насечкой, дальнобойное и верное. Отец получил ружье для меня от Н. Д. Неелова, старика, постоянно жившего в Вологде в своем большом барском доме, наискось от нашей квартиры. Я бывал у него с отцом и хорошо помню его кабинет в антресолях с библиотечными шкафами красного дерева, наполненными иностранными книгами, о которых я после уже узнал, что все они были масонские и что сам Неелов, долго живший за границей, был масон. Он умер в конце 60-х годов



столетним стариком, ни у кого не бывал и никого, кроме моего отца и помещика Межакова, своего друга, охотника и собачника, не принимал у себя и все время читал старые книги, сидя в своем кресле в кабинете.

На охоту в Светелки приезжал и родственник Назимовой, Николай Разнатовский, отставной гусар, удалец и страстный охотник. Он меня обучал верховой езде и возил в имение своей жены, помнится, Несвойское, где были прекрасные конюшни и много собак. Его жена, Наталья Васильевна, урожденная Буланина, тоже любила охоту и была наездницей. Носились мы как безумные по полям да лугам — плетень не плетень, ров не ров — вдвоем с тетенькой, лихо сидевшей на казачьем седле — дамских седел не признавала, — она на своем арабе Неджеде, а я на дядином стиплере Огоньке. Николай Ильич еще приезжал в город на день или на два, а Наталья Васильевна никогда: уж слишком большое внимание всего города привлекала она. Красавица в полном смысле этого слова, стройная, с энергичными движениями и глубокими карими глазами, иногда сверкавшими блеском изумруда. На левой щеке, пониже глаза, на матово-бронзовой коже темнело правильно очерченное в виде мышки, небольшое пятнышко, покрытое серенькой шерсткой.

Но главной причиной городских разговоров было ее правое ухо, раздвоенное в верхней части, будто кусочек его аккуратно вырезан. Историю этого уха знала вся Вологда и знал Петербург.

Николай Ильич Разнатовский поссорился с женой при гостях, в числе которых была тетка моей мачехи, только кончившая институт и собиравшаяся уезжать из Петербурга в Вологду. Она так рассказывала об этом:

— После обеда мы пили кофе в кабинете. Коля вспылил на Натальи, вскочил из-за стола, выхватил пистолет и показал жене.

— Стреляй! Ну, стреляй! — поднялась со стула Наталья, сверкая глазами, и застыла в выжидательной позе.

Грянул выстрел. Звякнула разбитая ваза, мы замерли от страшной неожиданности. Кто-то в испуге крикнул «доктора», входивший лакей что-то уронил и выбежал из двери...

— Не надо доктора! Я только ухо поцарапал. — И Коля бросился к жене, подавая ей со стола салфетку.

А она, весело улыбаясь, зажала окровавленное ухо салфеткой, а другой рукой обняла мужа и сказала:

— Я, милый Коля, больше не буду! — И супруги расцеловались.

Что значило это «не буду», так до сих пор никто и не знает. Дело разбиралось в Петербургском окружном суде, пускали по биле-

там. Натали показала, что она, веря в искусство мужа, сама предложила стрелять в нее, и Коля заявил, что стрелял наверняка, именно желая отстрелить кончик уха.

Защитник потребовал, чтобы суд проверил искусство подсудимого, и действительно был сделан перерыв, назначена экспертиза, и Коля на расстоянии десяти шагов всадил четыре пули в четырех тузов, которые держать в руках вызвалась Натали, но ее предложение было отклонено. Такая легенда ходила в городе.

Суд оправдал дядю, он вышел в отставку, супруги поселились в вологодском имении, вот тогда-то я у них и бывал.

Когда отец мой женился на Марье Ильиничне Разнатовской, жизнь моя перевернулась. Умер мой дед, и по летам я жил в Деревеньке, небольшой усадьбе моей новой бабушки Марфы Яковлевны Разнатовской, добродушнойшей полной старушки, совсем непохожей на важную помещицу-барыню. Она любила хорошо поесть и целое лето проводила со своими дворовыми, еще так недавно бывшими крепостными, варила варенья, соленья и разные вкусные заготовки на зиму. Воза банок отправлялись в Вологду. Бывшие крепостные не желали оставлять старую барыню, и всех их ей пришлось одевать и кормить до самой смерти. Туда же после смерти моего деда поселился и Китаев. Это был мой дядька, развивавший меня физически. Он учил меня лазить по деревьям, обучал плаванью, гимнастике и тем стремительным приемам, которыми я побеждал не только сверстников, а и великовозрастных.

— Храни тайно. Никому не показывай приемов, а то они силу потеряют, — наставлял меня Китаев, и я слушал его.

Но о нем будет речь особо.

Итак, со смертью моей матери перевернулась моя жизнь. Моя мачеха, добрая, воспитанная и ласковая, полюбила меня действительно как сына и занялась моим воспитанием, отучая меня от дикости первобытных привычек. С первых же дней посадила меня за французский учебник, кормя в это время конфетами. Я скоро осилил эту премудрость и, подготовленный, поступил в первый класс гимназии, но «светские» манеры после моего гувернера Китаева долго мне не давались, хотя я уже говорил по-французски. Особенно это почувствовалось в то время, когда отец с матерью уехали года на два в город Никольск на новую службу по судебному ведомству, а я переселился в семью Разнатовских. Вот тут-то мне досталось от двух сестер матери, институток: и сел не так, и встал не так, и ешь,



как мужик! Допекали меня милые тетеньки. Как-то летом, у бабушки в усадьбе, младшая Разнатовская, Катя, которую все звали красавицей, оставила меня без последнего блюда. Обедаем. Сама бабушка Марфа Яковлевна, две тетеньки, я и призреваемая дама, важная и деревянная, Матильда Ивановна, сидевшая справа от меня, а слева красавица Катя. По обыкновению, та и другая то и дело пияли меня: не ешь с ножа, и не ломай хлеб на скатерть, и ложку не держи, как мужик... За столом прислуживал бывший крепостной, одновременно и повар, и столовый лакей, плешивый Афраф. Какое это имя и было ли у него другое — я не знаю. В кухне его звали Афрафий Петрович. Афраф, стройный, с седыми баками, в коломенковой ливрее, чистый и вылощенный, никогда ни слова не говорил за столом, а только мастерски подавал кушанья и убирал из-под носу тарелки иногда с недоеденным вкусным куском, так что я при приближении бесшумного Афрафа оглядывался и запихивал в рот огромный последний кусок, что вызывало шипение тетенок и сравнение меня то с собакой, то с крокодилом. Бабушка была глуховата, не слышала их замечания, а когда слышала, заступалась за меня и увещевала по-французски тетенок.

Вот съели суп. Подали отбивные телячьи котлеты с зеленым горошком... Поставили огромное блюдо душистой малины, мелкий сахар в вазах и два хрустальных кувшина с взбитыми сливками — мое самое любимое лакомство. Я старался около котлеты, отрезая от кости кусочки мяса, так как глотать кость за столом не полагалось. Я не заметил, как бесшумный Афраф стал убирать тарелки, и его рука в нитяной перчатке уже потянулась за моей, а горошек я еще не трогал, оставив его как лакомство, и когда рука Афрафа простерлась над тарелкой, я ухватил десертную ложку, приготовленную для малины, помог пальцами захватить в нее горошек и благополучно отправил его в рот, уронив два стручка на скатерть. Ловко убрав упавший стручок, Афраф поставил передо мной глубокую расписанную тарелку для малины, а тетенька ему:

— Афраф, переверните тарелку Владимиру Алексеевичу, он оставлен без сладкого блюда. — И рука Афрафа перевернула вверх дном тарелку, а ложку, только что положенную мной на скатерть, он убрал.

Я замер на минуту, затем вскочил со стула, перевернулся задом к столу и с размаха хлюпнул на перевернутую тарелку, которая разлетелась вдребезги, и под вопли и крики тетенок выскочил через балкон в сад и убежал в малинник, где досыта наелся душистой малины под крики звавших меня тетенок... Я вернулся поздно ночью,



а наутро надо мной тетеньки затеяли экзекуцию и присутствовали при порке, которую совершали надо мной, надо сказать, очень нежно, старый Афраф и мой друг — кучер Ванька Брызгин.

Защитником моим был Николай Разнатовский, иногда наезжавший из имения, да живший вместе с нами его брат, Семен Ильич, служивший на телеграфе, простой, милый человек, а во время каникул — третий брат, Саша Разнатовский, студент Петербургского университета; тот прямо подружился со мной, гимназистом 2-го класса.

С гимназией иногда у меня бывали нелады: все хорошо, да математика давалась плохо, из-за нее приходилось оставаться на второй год в классах. Еще со второго класса я увлекся цирком и за две зимы стал недурным акробатом и наездником. Конечно, и это отозвалось на занятиях, но уследить за мной было некому. Во время приезда Саши Разнатовского он репетировал меня, но в конце концов исчез бесследно. Было известно, что он тоже замешан в политику и в один прекрасный день он уехал в Петербург и провалился как сквозь землю — никакие розыски не помогли. В семье Разнатовских, по крайней мере при мне, с тех пор не упоминали имени Саши, а ссыльный Николай Михайлович Васильев, мой репетитор, говорил, что Саша бежал за границу и переменял имя. И до сих пор я не знаю, куда девался Саша Разнатовский.

В это время Вологда была полна политическими ссыльными. Здесь были и по делу Чернышевского, и «Молодой России», и нигилисты, и народники. Всех их звали обыватели одним словом «нигилисты». Были здесь тогда П. Л. Лавров и Н. В. Шелгунов, первого, впрочем, скоро выслали из Вологды в уездный городишко Грязовец, откуда ему при помощи богатого помещика Н. А. Кудрявого был устроен благополучный побег в Швейцарию. Дом Кудрявого был как раз против окон гимназии, и во флигеле этого дома жили ссыльные, к которым очень благоволила семья Кудрявых, а жена Кудрявого, Мария Федоровна, покровительствовала им открыто, и на ее вечерах, среди губернской знати, обязательно присутствовали важнейшие из ссыльных.

Вообще тогда отношение к политическим во всех слоях общества было самое дружественное, а ссыльным полякам, которых после Польского восстания 1863 года было наслано много, покровительствовал сам губернатор, заядлый поляк Станислав Фомич Хоминский. Ради них ему приходилось волей-неволей покровительствовать и русским политическим.

Ходили нигилисты в пледах, очках обязательно и широкополых шляпах, а народники — в красных рубахах, поддевках, смазных сапогах, также носили очки синие или дымчатые и тоже длинные, по плечам, волосы. И те и другие были обязательно вооружены самодельными дубинами — лучшими считались можжевеловые, которые добывали в дремучих домшинских лесах.

Нигилистки коротко стриглись, носили такие же очки, красные рубахи-косоворотки, короткие черные юбки и черные маленькие шляпки вроде кучерских.

М. Ф. Кудрявая, по инициативе и при участии ссыльных, в своем подгородном имении завела большую молочную ферму, где ссыльные жили и работали. Выписаны были коровы-холмогорки, дело поставлено было широко, и в продаже впервые в городе появилось сливочное и сметанное масло в фунтовых формах с надписью «Кудрявая». Вскоре это масло стало поступать в большом количестве в Москву, в Ярославль и другие города. Для Вологды цена за фунт 25 копеек казалась дорогой — и масло это подавать на стол считалось особым шиком. Эта ферма была родоначальницей знаменитого и донныне вологодского масляного производства. Всякий ссыльный считал своим долгом первый визит сделать Кудрявой и нередко поселялся на ее ферме. Впоследствии, в 1882 году, приехав в Вологду, я застал во флигеле Кудрявой живших там Германа Лопатина и Евтихия Карпова, драматурга, находившихся здесь в ссылке.

Исправником в Вологде был А. И. Саблин. Его дети были Михаил (впоследствии сотрудник «Русских ведомостей»), юрист Александр и Николай, застрелившийся в Тележной улице в Петербурге после «1-го марта» в момент ареста. В то время все трое были студентами, числились неблагонадежными, и отец, бывший под влиянием сыновей, мирволил политическим. Помощником исправника был П. В. Беляев, женатый на Анне Михайловне Васильевой, два брата которой, Николай и Александр, высланные в Вологду, ярые народники, с дубинами и в красных рубахах, и были, сперва один, а потом другой, моими репетиторами. Они жили у сестры, которая собирала у себя ссыльную молодежь и даже остриглась и надела синие очки, но проносила только один день — муж попросил снять.

— Сними, а то надо мной и так уже смеются!

При такой сочувствующей власти ссыльные не стеснялись.

Была еще крупная власть — это полицмейстер, полковник А. Д. Суворов, бывший кавалерист, прогусаривший свое имение



и попавший на эту должность по протекции. Страстный псовый охотник, не признававший ничего, кроме охоты, лошадей, театра и товарищеских пирушек, непременно с жженкой и пуншем. Он носился на шикарнейшей паре с отлетом по городу, кнутиком подхлестывал пристяжную, сам не зная куда и зачем — только не в полицейское управление.

Как-то февральской вьюжной ночью, при переезде через реку Вологду, в его сани вскочил волк (они стаями бегали по реке и по окраинам). Лихой охотник, он принял ловкой хваткой волка за уши, навалился на него, приехал с ним на двор театра, где сострунил его, поручил полицейским караулить и как ни в чем не бывало звякнул шпорами в зрительном зале и занял свое обычное кресло в первом ряду. Попал он к четвертому акту «Гамлета». В последнем антракте публика, узнав о волке, надела шубы, устремилась на двор смотреть на это диво и уж в театр не возвращалась — последний акт смотрел только один Суворов в пустом театре.

Ну какое дело Суворову до ссыльных? Если же таковые встречались у собутыльников за столом — среди гостей, — то при встречах он раскланивался с ними как со знакомыми. Больше половины вологжан-студентов были высланы за политику из столицы и жили у своих родных, и весь город был настроен революционно.

Около того же времени исчез сын богатого вологодского помещика, Левашов, большой друг Саши, часто бывавший у нас. Про него потом говорили, что он ушел в народ, даже кто-то видел его на Волге в армяке и в лаптях, ехавшего вниз на пароходе среди рабочих. Мне Левашов очень памятен — от него первого я услышал новое о Стеньке Разине, о котором до той поры я знал, что он был разбойник и его за это проклинают анафемой в церквях Великим постом. В гимназии о нем учили тоже не больше этого.

Я как-то зашел в комнату Саши — он жил совершенно отдельно на антресолях. Там сидели Саша, Н. А. Назимова, Левашов, оба неразлучные братья Васильевы и наш гимназист седьмого класса, тоже народник, Кичин, пили домашнюю поляничную наливку и шумно разговаривали. Дали мне рюмку наливки, и Наталья Александровна усадила меня рядом с собой на диван.

Меня вообще в разговорах не стеснялись. Саша и мой репетитор Николай Васильев раз навсегда предупредили меня, чтобы я молчал о том, что слышу, и что все это мне для будущего надо знать. Конечно, я тоже гордо чувствовал себя заговорщиком, хотя мало



что понимал. Я как раз пришел к разговору о Стеньке. Левашов говорил о нем с таким увлечением, что я сидел раскрыв рот. Помню:

— Анафеме предали! Не анафеме, а памятник ему поставить надо! И дождемся, будет памятник! И не один еще Стенька Разин, будет их много, в каждой деревне свой Стенька Разин найдется, в каждой казачьей станице сыщется, — а на Волге сколько их! Только надо, чтобы их еще больше было, надо потом слить их — да и ахнуть! Вот только тогда-то все ненужное к черту полетит!

Это был последний раз, когда я видел Сашу и Левашова.

Этот день крепко засел у меня в голове, и потом все чаще и чаще просвещал меня Васильев, но я все-таки мало понимал. Меня тянуло больше к охоте. Читал я тоже мало, и если увлекался, то более всего Майн Ридом и Купером. Газет тоже никогда не читал, у нас получался «Сын Отечества», а я и в руки его не брал. Увидел раз в столе у отца «Колокол» и, зная, что он запрещенный, начал читать, нашел скучным, непонятным и бережно положил обратно. Слушал я умного много, но понимал все по-своему и даже скучал, слушая непонятные разговоры.

Кружок ссыльных в августе месяце, когда наши жили в деревне, собирался в нашем глухом саду при квартире. Я в августе жил в городе, так как начинались занятия. Весело проводили в этом саду время, пили пиво, песни пели, особенно про Стеньку Разина я любил; потом играли в городки на дворе, боролись, возились. Здесь я чувствовал себя в своей компании, отличался цирковыми акробатическими штуками, а в борьбе легко побеждал бородатых родственников, конечно пользуясь приемами, о которых они не имели понятия.

Мне было пятнадцать лет, выглядел я по сложению много старше. И вот как-то раз, ловким обычным приемом, я перебросил через голову боровшегося со мной толстяка Обнорского, и он, вставая, указал на меня:

— Вот он, живой Никитушка Ломов!

— Ушкуйник! — сказал Васильев.

А ушкуйником меня прозвали в гимназии по случаю того, что я в прошлом году убил медведя.

Вышло это так. Осенью мне удалось убить из-под гончих на охоте у Разнатовского матерого волка.

Ясно, что после волка захотелось и медведя убить. Я к нему, прошу его:

— Дядя Коля, возьми меня на медведя!

— Да ты с ума сошел? А что наши-то скажут?

Дядя, по своему обыкновению, выругался, прошелся раза два по комнате и сказал:

— Ладно. Про медведя молчи, а я скажу им, что мы в субботу на лосей едем, а у меня в Домшине берлоги обложены.

Мы долго ехали на прекрасной тройке во время вьюги, потом в какой-то деревушке, не помню уж названия, оставили тройку, и мужик на розвальнях еще верст двенадцать по глухому бору тащил нас до лесной сторожки, где мы и выспались, а утром, позавтракав, пошли. Дядя мне дал свой штуцер, из которого я стрелял не раз в цель.

Долго, помню, шли мы на лыжах по старому лыжному следу. Наконец остановились у целой горы бурелома. Место кругом было заранее вытоптанно, так что можно ходить без лыж. Меня поставили близ толстой сосны, как раз шагах в восьми от вывороченного и занесенного снегом корня дерева. Под ним-то и была берлога. Дядя стал правее, левее помещик-охотник Ираклион Корчагин, а сзади меня, должно быть для моей безопасности, Китаев, с рогатиной в руках и ножом за поясом. Когда все было готово, лесник влез на кучу бурелома и начал тыкать длинным шестом под корни вывороченной вековой ели. Сначала щелкнули взводы курков... Потом дядя, улыбаясь, сказал мне:

— Смотри целясь в лопатку, не промахнись — это твой медведь, целясь, не горячись.

— Не зевай, — мигнул мне Корчагин.

Вдруг под снегом раздалось рычание, а потом рев... Лесник, упершись шестом в снег, прямо с дерева перепрыгнул к нам на утоптанное место. В тот же момент из-под снега выросла почти до половины громадная фигура медведя. Я, не отдавая себе отчета, прицелился и спустил оба курка.

Гром выстрела и страшный рев... Я стоял, облокотясь о сосну, ни жив ни мертв и сразу ничего не видел сквозь дым.

— Bravo, молодец! Наповал! — послышался голос дяди, а из берлоги рявкнул Китаев: — Есть!

Когда он успел туда прыгнуть, я и не видал. А медведя не было, только виднелась громадная яма в снегу, из которой шел легкий пар, и показалась спина и голова Китаева. Разбросали снег, Китаев и лесник вытащили громадного зверя, в нем было, как сразу определил Китаев, и оказалось верно, шестнадцать пудов. Обе пули по-



пали в сердце. Меня поздравляли, целовали, дивились на меня мужики, а я все еще не верил, что именно я, один я, убил медведя!

Но зато ни один триумфатор не испытывал того, что ощущал я, когда ехал городом, сидя на санях вдвоем с громадным зверем и Китаевым на козлах. Около гимназии меня окружили товарищи, расспросам конца не было, и потом как я гордился, когда на меня указывали и говорили: «Медведя убил!» А учитель истории Н. Я. Соболев на другой день, войдя в класс, сказал, обращаясь ко мне:

— Здравствуй, ушкуйник! Поздравляю!

Так и пошло — ушкуйник. Да только ненадолго!

Ушкуйник-то ушкуйником, а вот кто такой Никитушка Ломов — заинтересовало меня. Когда я спросил об этом Николая Васильева, то он сказал мне: «Погоди, узнаешь!» И через несколько дней принес мне запрещенную тогда книгу Чернышевского «Что делать?».

Я зачитался этим романом. Неведомый Никитушка Ломов, Рахметов, который пошел в бурлаки и спал на гвоздях, чтобы закалить себя, стал моей мечтой, моим вторым героем. Первым же героем все-таки был матрос Китаев.

Матрос Китаев. Впрочем, это было только его деревенское прозвище, данное ему по причине того, что он долго жил в бегах в Японии и в Китае. Это был квадратный человек, как в ширину, так и вверх, с длинными, огромными обезьяньими ручищами и сутулый. Ему было лет шестьдесят, но десяток мужиков с ним не мог сладить: он их брал, как котят, и отбрасывал от себя далеко, ругаясь неистово не то по-японски, не то по-китайски, что, впрочем, очень смахивало на некоторые и русские слова.

Я смотрел на Китаева как на сказочного богатыря, и он меня очень любил, обучал гимнастике, плаванию, лазанью по деревьям и некоторым невиданным тогда приемам, происхождение которых я постиг десятки лет спустя, узнав тайны джиу-джитсу. Я, начитавшись Купера и Майн Рида, был в восторге от Китаева, перед которым все американские герои казались мне маленькими. И действительно, они били медведей пулей, а Китаев резал их один на один ножом. Намотав на левую руку овчинный полушубок, он выманивал, растревожив палкой, медведя из берлоги, и когда тот, вылезая, вставал на задние лапы, отчаянный охотник совал ему в пасть с левой руки шубу, а ножом в правой руке наносил смертельный удар в сердце или в живот.



Мы были неразлучны. Он показывал приемы борьбы, бокса, клал на ладонь, один на другой, два камня и ударом ребра ладони разбивал их или жонглировал бревнами, приготовленными для стройки сарая. По вечерам рассказывал мне о своих странствиях вокруг света, о жизни в бегах в Японии и на необитаемом острове. Не врал старик никогда. И к чему ему врать, если его жизнь была так разнообразна и интересна! Многое, конечно, из его рассказов, так напоминавших Робинзона, я позабыл. Бытовые подробности японской жизни меня, тогда искавшего только сказочного героизма, не интересовали, — а вот историю его корабельной жизни и побега я и теперь помню до мелочей, тем более что через много лет я встретил человека, который играл большую роль в судьбе Китаева во время самого разгара его отчаянной жизни.

Надо теперь пояснить, что Китаев был совсем не Китаев, а Василий Югов, крепостной, барской волей сданный не в очередь в солдаты и записанный под фамилией Югов в честь реки Юг, на которой он родился. Тогда вологжан особенно охотно брали в матросы. Васька Югов скоро стал известен как первый силач и отчаянная голова во всем флоте. При спуске на берег в заграничных гаванях Васька в одиночку разбивал таверны и уродовал в драках матросов иностранных кораблей, всегда счастливо успевая спастись и являться иногда вплавь на свой корабль, часто стоявший в нескольких верстах от берега на рейде. Ему всыпали сотни линьков, гоняли сквозь строй, а при первом отпуске на берег повторялась та же история с эпилогом из линьков — и все как с гуся вода.

Так рассказывал Китаев:

— Бились со мной, бились на всех кораблях и присудили меня послать к Фофану на усмирение. Одного имени Фофана все, и офицеры и матросы, боялись. Он и вокруг света сколько раз хаживал, и в Ледовитом океане за китом плавал. Такого зверя, как Фофан, отродясь на свете не бывало: драл собственноручно, меньше семи зубов с маху не вышибал, да еще райские сады на своем корабле устраивал.

Китаев улыбался своим беззубым ртом. Зубов у него не было: половину в рекрутстве выбили да в драках по разным гаваням, а остатки Фофан доколотил. Однако отсутствие зубов не мешало Китаеву есть не только хлеб и мясо, но и орехи щелкать: челюсти у него давно закаменели и вполне заменяли зубы.

— А райские сады Фофан так устраивал: возьмет да и развесит провинившихся матросов в веревочных мешках по реям... Висим

и болтаемся... Это первое наказание у него было. Я болтался-болтался как мышь на нитке... Ну, привык, ничего — заместо качели, только скрюченный сидишь, неудобно малость.

И он, скорчившись, показал ту позу, в какой в мешках сиживал.

— Фофан был рыжий, так, моего роста и такой же широкий, здо­ровущий и красный из лица, как медная кастрюля, вроде индейца. Пригнали меня к нему как раз накануне отхода из Кронштадта в Камчатку. Судно, как стеклышко, огнем горит — надраили. Привели меня к Фофану, а он уже знает.

— Васька Югов? — спрашивает.

— Есть! — отвечаю.

— Крузенштерн, — а я у Крузенштерна на последнем судне был, — не справился с тобой, так я справлюсь.

И мигнул боцману. Ну, сразу за здраю-желаю полсотни горячих всыпали. Дело привычное, я и глазом не моргнул, отмолчался. Понравилось Фофану. Встаю, обеими руками, согнувшись, подтягиваю штаны, а он мне:

— Молодец, Югов.

Бросил я штаны, вытянулся по швам и отвечаю: есть! А штаны-то и упали. Еще больше это понравилось Фофану, что штаны позабыл для-ради дисциплины.

— На сальник! — командует мне Фофан.

А потом и давай меня по вантам, как кошку, гонять. Ну, дело знакомое, везде первым марсовым был, понравился... С час гонял — а мне что! Похвалил меня Фофан и гаркнул:

— Будешь безобразничать — до кости шкуру спущу!

И спускал. Вот, то есть как, за всякие пустяки дерма драл да в мешках на реи подвешивал. Прямо зверь был. Убить его не раз матросы собирались, да боялись подступить.

Фофан меня лупил за всякую малость. Уже просто человек такой был, что не мог не зверствовать. И вышло от этого его характера вот какое дело. У берегов Японии, у островов каких-то, Фофан приказал выпороть за что-то молодого матроса, а он болен был, с мачты упал и кровью харкал. Я и вступись за него, говорю, стало быть, Фофану, что лучше меня, мол, порите, а не его, он не вынесет... И взбеленился зверяга...

— Бунт? Под арест его. К расстрелу! — орет, и пена от злости у рта.

Бросили меня в люк, а я и уснул. Расстреляют-то завтра, а я пока выплещу.

Вдруг меня кто-то будит:



— Дядя Василий, тебя завтра расстреляют, беги, — земля видна, доплывешь.

Гляжу, а это тот самый матрос, которого наказать хотели... Оказывается, все-таки Фофан простил его по болезни... Поцеловал я его, вышел на палубу; ночь темная, волны гудят, свищут, море злое, да все-таки лучше расстрела... Нырнул на счастье да и очутился на необитаемом острове... Потом ушел в Японию с ихними рыбаками, а через два года на «Палладу» попал, потом в Китай и в Россию вернулся.

Директором гимназии был И. И. Красов. В первый раз я его увидел в классе так.

— Иван Иванович... Иван Иванович... — зашептал класс и смолк.

Я еще не знал, кто такой Иван Иванович, но слышал тяжелые, слоновьи шаги по коридору, и при каждом шаге вздрагивала стеклянная дверь нашего класса. Шаги смолкли, и в открытой двери появился сначала синий громадный шар с блестящими пуговицами, затем белая-белая коротенькая ручка, и наконец синий шар сделал какое-то смешное движение, пролез в дверь, и вместе с ним появилась добродушная физиономия с длинным утиным носом и едва заметными сонными глазками. Из-под шара и руки, оперевшейся на косяк, показалась не то тарелка киселя, не то громадное голое колено и выскочила маленькая старческая бритая фигура инспектора Игнатьева, с седой бахромой под большими ушами. И ринулся маленький, семена ножками, к доске и вытащил из-за нее спрятавшегося Клишина...

— Уж тут себе... Уж тут себе... На колени, мерзавец!..

— Иван Иванович, простите... Иван Львович... — то в одну, то в другую сторону оборачивался с колен лунообразный купеческий сынок Клишин.

— Иван Иванович... У меня штаны новые — отец драться будет.

— Потому что... — да, да, да... — тоненьким тенорком раскатился Иван Иванович и, повернувшись, стал вправлять свой живот в дверь, избоченился и скрылся.

— Уж тут себе... Уж тут себе... Вставай, скотина... Не тебя жалею, лупетка толстая, штанов твоих родительских... — И засеменял за директором.

— Го-го-го... го-го-го... — раскатился басом зырянин Забоев.

Четырехугольная фигура, четырехугольное лицо, четырехугольные лоб и нос. В первом классе он сидел 6 лет. Приезжал из Сольвычегодского уезда по зимам, за тысячу верст, на оленях, его отец-



зырянин, совершенный дикарь, останавливался за заставой на всполье, в сорокаградусные морозы, и сын ходил к нему ночевать и есть сырое мороженое оленье мясо. В этом же году его выгнали за скандал: он, пьяный, ночью побросал с соборного моста в реку патруль из четырех солдат вместе с ружьями. А Клишин вышел из гимназии перед Рождеством и той же зимой женился. Таких великовозрастных было много в первом классе. Конечно, все они были поротые. Хотя телесное наказание было уже запрещено в гимназиях, но у нас сторожа Онисим и Андрей каждое воскресенье устраивали «парта плезиры» на всполье, в тундру, специально для заготовления розог, которые и хранили в погребе.

— Чтобы свежие были!

Употреблять их приходилось все-таки редко, но традиции велись. Оба сторожа, николаевские солдаты, никогда не могли себе представить, что можно ребят не пороть.

— Ум выгонять надо оттуда, чтобы он в голову шел, — совершенно безапелляционно заявлял Онисим и сокрушался, что «мало порют ныне».

Мой отец тоже признавал этот способ воспитания, хотя мы с ним были вместе с тем большими друзьями, ходили на охоту и по несколько дней, товарищами, проводили в лесах и болотах. В 12 лет я отлично стрелял и дробью и пулей, ездил верхом и был неутомим на лыжах. Но все-таки я был безобразник, и будь у меня такой сын теперь, в XX веке, я, несмотря ни на что, обязательно порол бы его.

Когда отец женился во второй раз, муштровала меня аристократическая родня мачехи, ее сестры да какая-то баронесса Матильда Ивановна, с коричневым старым псом Жужу!.. В первый раз меня выпороли за то, что я, купив сусального золота, вызолотил и высеребрил Жужу такие места, которые у собак совершенно не принято золотить и серебрить.

Сидели все на балконе и пили кофе. Были гости. Матильда Ивановна, сухая, чопорная, в шелковой косынке, что-то вязала. Вдруг вбегает Жужу, на минутку садится, взвизгивает, вертится, поднимает ногу и тщетно старается слизнуть золото, а оно так и горит. Что тут было! Меня тетеньки поймали в саду, привели дворню и выпороли в беседке. Одна из тетенок, дева не первой свежести, собственноручно нарвала крапивы и велела ввязать ее в розги. Потом я ей за это жестоко отомстил. Стал к нам ездить офицер, за которого она вышла потом замуж. По вечерам они уходили в старую беседку,

в ту самую, где меня пороли, и мирно беседовали вдвоем. Я проломил гнилую крышу у беседки утром, а вечером, когда они сидели на диване и объяснялись в любви, я влез на соседний высокий забор и в эту дыру на крыше, прямо на головы влюбленных, высыпал целую корзину наловленных в пруде крупных жирных лягушек, штук сто! Визг тети и оранье испуганного храброго вояки-жениха, гордившегося медалью за усмирение Польши, я услышал уже из конца чужого сада. Мне за это ничего не было. Жених и невеста молчали об этом факте, и много лет спустя я, будучи уже самостоятельным, сознался тете, с которой подружился. Оказывается, что лягушки-то и устроили ее будущую счастливую семейную жизнь. Это был лягушечий период. Справа от нашего дома жил мальчик Костя. За то, что он фискалил и жаловался на меня, я посадил его в чан, где на дне была вода и куда я накидал полсотни лягушек. Конечно, Костя пожаловался, и я был сечен долго и больно. Это было требование отца Кости, старого бритого чиновника, ходившего в фризовой шинели и засаленном форменном картузе. Эту шинель потом я, в отместку за порку, всю разрисовал масляной охрой, все кругами, кругами. Догадывались, но уличить меня не смели. Для исполнения цели надо было рано утром влезть из сада в окно и в сенцах, где висела шинель, поработать над ней. Через неделю шинель потчистили, но желтые круги все-таки были видны даже через улицу.

— Хорошенькие воспоминания детства: только одни шалости, а где же ученье?

— Извольте. Ученье? Да, собственно говоря, ученья-то у меня было мало.

Молодой ум вечно кипел сомнениями. Учишь в Законе Божием, что кит проглотил пророка Иону, а в то же время учитель естественной истории Камбала рассказывает, что у кита такое маленькое горло, что он может глотать только мелкую рыбешку. Я к отцу Николаю. Рассказываю.

— И выходишь ты дурак! И кто тебя учит этой ереси — тоже дурак выходит. Сказано: во чреве китове три дня и три ночи. А если еще будешь спрашивать глупости — в карцер. Написано в книге, и учи. Что, глупее тебя, что ли, Святые-то Отцы, оболтус ты эдакий?

А Камбала — тот свое:

— И сравнению не подлежит! Это обыкновенный кит, и он может только глотать малую рыбешку, а тот был кит другой, кит библейский, — тот и пророка может. А ты, дурак, за неподобающие вопросы выйди из класса!

## СОДЕРЖАНИЕ

Мои скитания .....	5
Друзья и встречи .....	211
Москва и москвичи .....	349
Люди театра .....	667